

СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КРЕСТЬЯНСТВА РУССКОГО СЕВЕРА В 1930-е ГОДЫ

Социальная идентичность различных групп советского общества сравнительно недавно привлекла к себе внимание исследователей. В российской историографии появились работы, освещающие социальную структуру деревни советского времени, в которых затрагивались и сюжеты, связанные с характеристикой самосознания крестьян¹. Современные зарубежные историки рассматривают проблему идентичности в контексте изучения коммуникации индивида и власти в Советском Союзе². Тем не менее пока еще нет работ, специально посвященных анализу идентичности сельских жителей 1930-х гг. как в России в целом, так и в отдельных ее регионах, в частности, на Русском Севере, входившем в 1929–1936 гг., наряду с национальными районами (Коми область и Ненецкий округ), в состав Северного края.

На протяжении 1930-х гг., несмотря на все превратности судьбы, изменения юридического статуса, характера производственной активности и социальной организации на селе, деревенские жители продолжали считать себя крестьянами. Вероятно, этому способствовали как сила традиции, так и высоко оцениваемый политической пропагандой статус крестьянства в иерархии социальных групп советского общества. Крестьянская идентичность жителей села проявлялась, прежде всего, в их антагонизме по отношению к городскому населению. И если в период сплошной коллективизации агитпроповская машина нередко вещала о союзе пролетариата и крестьянства в борьбе с эксплуататорским классом кулачества, то селяне готовы были скорее признать отсутствие антагонизма внутри деревенского мира (безусловно имевшего место), нежели допустить мысль об общности своих интересов с жителями города. Противопоставление себя миру города было характерным и для колхозной деревни. «Деревня сеет хлеб, но голодует, зато город торгует», «коров держать – масло городу отдавать, а самим воду хлебать», – говорили между собой в 1934 г. колхозники колхоза им. Калинина Шенкурского района³. В 1937 г. та же мысль звучала в Нижне-Кулойском сельсовете Верхояжского района: «Пролетариат перевыполняет план промышленности, а мы сидим голодные»⁴. Мысль о неэквивалентности обмена между городом и деревней высказывал в 1929 г. на одном из собраний житель Грязовецкого района И.К. Пургин: «Нас кругом обманывают, обвешивают, посылают запакованные товары неполновесные. Рабочему дают все, а мужику ничего»⁵. Отразился этот антагонизм и в деревенской частушке 1930-х гг. «Ныне служащие ходят все в суконных пиджаках. Пятилетку выполняют на голодных мужиках», – распевали тогда школьники в Каргопольском районе⁶. География даже перечисленных выше случаев показывает широкое распространение подобных взглядов среди жителей села. Конечно, они в первую очередь отражали протест крестьянства против политики государственного ограбления деревни, но в них выражалась и общность сельских жителей, их противопоставление себя городу.

Другим важным признаком принадлежности к крестьянству для деревенских жителей было занятие земледелием. Иногда даже под словом «крестьянство» они понимали не определенный социальный слой, а вид хозяйственной деятельности, говоря, например: «ранее занимался крестьянством, потом имел подсобное предприятие»⁷. Особенно часто крестьяне ссылались на свою трудовую жизнь в «письмах во власть». В марте 1930 г., пытаясь доказать несправедливость проведенного раскулачивания, из Нижне-Матигорского сельсовета Холмогорского района писали в окружную рабоче-крестьянскую инспекцию: «Онегин Иван Егор[ович] с малых лет работает, трудится

* **Кедров Николай Геннадьевич**, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории Санкт-Петербургского государственного горного университета.

не покладая рук. Своими собственными руками построил дом со скотным двором и вся биография его трудовая... Михаил Петров... с малых лет работал в чужих людях в работниках и все время работал день и даже ночь... Леонтьев Николай Михайлович... трудовой крестьянин... никогда не выпьет вина, сам себя оскудняет в пище»⁸. Подобного рода характеристики можно обнаружить и в других письмах крестьян в государственные органы. М.Д. Ламов сообщал в редакцию «Крестьянской газеты» о своем дворе: «Самое трудолюбивое хозяйство, работая и день, и ночь и отказывая себе во всем и всю жизнь»⁹. Житель Кубино-Озерского района М.Н. Улитин в 1932 г. писал в Севкрайком ВКП(б) про свое имущество: «нажитое потом с мозолистых рук, перенося нужду и горе»¹⁰. Разумеется, в «письмах во власть» крестьяне, как правило, стремились доказать неэксплуататорский характер своих хозяйств, поэтому трудовое начало в них всячески подчеркивалось, однако постоянные обращения к этому доводу, часто в схожих выражениях, позволяют считать его еще одним сравнительно устойчивым признаком крестьянской идентичности.

Не менее важным элементом крестьянского самосознания в 1930-е гг. было стремление к свободе хозяйственной деятельности. Именно оно лежало в основе циркулировавших среди жителей северной деревни на рубеже 1920–1930-х гг. призывов к отмене классового налогообложения, развитию индивидуального крестьянского хозяйства и введению свободы торговли¹¹. Распространенность подобных взглядов в крестьянской среде была одной из причин неприятия колхозов. Для жителя села, привыкшего видеть в крестьянском дворе центр хозяйственной жизни и основу благосостояния семьи, идея колхоза выглядела по меньшей мере странно. Но эту установку крестьянского сознания можно увидеть и в колхозной деревне, где свобода хозяйственной деятельности была в принципе невозможна. Об этом, в частности, свидетельствуют широко распространенная практика «прирезок» земельных участков к личному подсобному хозяйству колхозников, с которой власти безуспешно пытались бороться¹², а также имевшие место в северной деревне случаи развода колхозных коров. «3 или 4 апреля 1932 года утром во время обеда приходит к нам в квартиру гражданин нашей деревни Груздин Сергей Иванович с газетой в руках и после пришел Никоноров Александр, – указывала в следственных показаниях жена председателя одного из колхозов Кубино-Озерского района. – Груздин читает газету и говорит: вот газеты пишут, что у каждого колхозника должна быть корова, веди с колхозного двора Яковлевна корову и ничего не будет. После чего читал газету и Никаноров. А Сергей говорит твой муж председатель колхоза, то защищает свою шкуру, то не дает разводить коров. В это время к нам набегало баб более 10, то им Сергей читает газету и говорит понимаете бабы газету, что каждый колхозник обязан иметь корову и вышел с бабами вместе на улицу и я вышла с ними. То на улице уговорились вести коров... И с этого сразу же разбежались раздоить коров и развели с ним вместе и я увела свою корову. Но на следующий день всех коров свели обратно на колхозный двор. И еще вместе с нами вновь коров Мелешин Иван и Левашев Василий Васильевич на принципах добровольности. Но продержали на колхозном дворе 2 ½ недели. Левашев Вас.В. увел корову со двора с женою Екатериной Ивановной. И только лишь сегодня 6 января 1933 года Левашев Василий вторично свел корову на колхозный двор»¹³. Показания хорошо передают внутреннюю борьбу в душе простого сельского труженика, показывают противоречие между установкой, основанной на историческом опыте самостоятельного хозяйствования, и обстоятельствами времени. Дилемма заключалась даже не в том, вести или не вести корову на колхозный двор, а в сохранении или изменении основ крестьянской идентичности, устоявшаяся практика хозяйствования сталкивалась со страхом наказания со стороны государства, старавшегося пресекать рецидивы прежних традиций. В результате коровы оказались на колхозном дворе, а участники их развода на скамье подсудимых. В условиях сталинской юстиции 1930-х гг. крестьянам нередко не оставалось ничего другого, как сожалеть об утраченной свободе и мечтать о том, что «в скором времени все переменится и мы опять заживем по-старому». «Доживем, что и мы опять будем хозяевами своего положения», – надеялись крестьяне в 1930-е гг.¹⁴

Проживание в сельской местности, труд на земле и желание самостоятельно хозяйствовать были основой крестьянской идентичности. Вместе с тем крестьяне сознавали и свою социальную неоднородность. Наивно полагать, будто деление крестьян на бедняков, середняков и кулаков было привнесено в российскую деревню советским режимом или же являлось следствием развития капиталистических отношений в пореформенной деревне. Деление сельских жителей на «лучших», «средних», «худых» и т.п. фиксируется еще в источниках XIV–XV вв.¹⁵ Всячески подчеркивалось оно и в партийных дискуссиях и налоговом законодательстве 1920-х гг. Особенно актуальной принадлежность к той или иной группе крестьянства оказалась на рубеже 1920–1930-х гг. Государственные органы были завалены крестьянскими письмами о переводе их из «зажиточных» в категорию середняков. Так, в 1931 г. житель деревни Сурковской Вожегодского района М.С. Куперов обратился в краевой исполнительный комитет с просьбой вывести его хозяйство из числа зажиточных. В причислении к ним он видел «грубый антисредняцкий перегиб», допущенный «и в отношении других однодеревенцев-средняков». При этом Куперов указывал, что у его семьи имеется только одна лошадь и одна корова, хозяйство ведется исключительно с помощью личного труда, а какие-либо излишки отсутствуют. Упоминал он и о своей политической благонадежности, объясняя нежелание вступать в колхоз лишь тем, что среди колхозников был «ряд лиц резко враждебно настроенных» против него¹⁶.

Состав раскулаченных в первые годы сплошной коллективизации зачастую отличался от круга тех лиц, которых сами крестьяне считали «кулаками». Так, в одном частном письме к брату-студенту (источнике в этом отношении менее пристрастном, нежели «письма во власть» и документы политического контроля) в 1930 г. говорилось: «Митя, у нас в деревне раскулачены следующие: 1) Леня Анкиндюшков, 2) Федя Гришин, 3) Федор Гаврилов, 4) кулак Николай Михайлович, 5) Паша Блинов и выселены из домов все»¹⁷. С.А. Гусарин из Грязовецкого района, прося вывести его отца из числа «зажиточных», писал в Рабоче-крестьянскую инспекцию, что при нэпе тот «покупал корову-две и водил к кулаку д. Гора Матвею Сергееву. Последний давал рубля 4–5 прибыль»¹⁸. При этом подразумевалось, что сам отец автора письма, несмотря на мелкую торговлю, «кулаком» не считался. Судя по письмам-доносам рубежа 1920–1930-х гг., «кулацкие» хозяйства заметно отличались от средних крестьянских дворов. Так, Ф.А. Ануфриев сообщал о деятельности в годы нэпа Николая Александровича Домнина из Харовского района: «Этот был известный барышник скота и раньше тоже совместно торговал с братом Иваном Александровичем, а главное ездил по ярмаркам торговал мануфактурой и разным товаром, а также и во время советской власти спекулировал скотом и по несколько годов нанимал работницу на все лето»¹⁹. Следует отметить, что в понятия «зажиточника» и «кулака» крестьяне вкладывали разный смысл. Так, о «кулаке» С. Коняеве анонимный автор писал: «Построил смолокурный завод и стал жить поживать, да добра наживать. За дешевку скупал смолье и дорого продавал смолу»²⁰. Авторы писем обычно подчеркивали, что основной доход кулакам приносила неземледельческая деятельность.

Бедняка в деревне севера практически повсеместно считали лодырем²¹. Властью такие характеристики оценивались как «кулацкие» и «антисоветские», однако они отражали восприятие деревенских реалий рядовым крестьянином, для которого бедняк был человеком, не способным и не желающим развивать свое хозяйство, предпочитающим безделье интенсивному труду. У крестьян проскальзывали и нотки снисходительного отношения к беднякам и их полужависимому положению: «Ему нарезали покос, но он держится за кулака, дадут ему рюмку вина, а он что угодно для кулака сделает». Бедняк воспринимался как несамостоятельный хозяин («беднота в нашей деревне находится под влиянием кулаков»), а следовательно, и как неполноценный крестьянин²². Таким образом, кулаками и бедняками в народном понимании считались те, кто при сохранении черт крестьянской идентичности, все же заметно отклонялся от ее норм.

Несмотря на использование одних и тех же социальных категорий, народное понимание внутренней дифференциации крестьянства существенно отличалось от

официально принятого в большевистской партии. Однако эти две системы оценок не были полностью изолированы друг от друга. С одной стороны, представители низовых органов власти, по сути своей те же крестьяне, осуществлявшие в деревне классовую политику большевиков, приносили в нее элементы крестьянского отношения. С другой стороны, пропагандистская машина активно распространяла среди крестьян идеи партийных дискуссий и законодательства. На рубеже 1920–1930-х гг. от грамотного использования социальных «бирок» порою в прямом смысле зависели жизнь и благополучие жителя села. Вместе с тем происходило своего рода размывание представлений о границах и признаках социальных групп. Все это усугубляло и без того острые противоречия внутри деревни. Даже обычно чуткие к проявлениям «классовых антагонизмов» составители политических сводок в 1929 г. с удивлением отмечали, что «средняк смотрит на бедняка как на лодыря, бедняк на середняка как на кулака»²³.

Разумеется, всеобщим для крестьян в этих условиях было желание избежать отнесения их хозяйств к числу «кулацких», «зажиточных» или к «деревенской верхушке». Крестьянские письма в различные органы власти, содержавшие жалобы на неправильное окулачивание, позволяют выявить черты, которые, по мнению крестьян, указывали на «зажиточную» или «кулацкую» семью²⁴. Во-первых, это экономические признаки: владение мельницей, лавкой, заводом, наличие нескольких лошадей и голов крупного рогатого скота, сложного инвентаря (веялка, сепаратор и т.д.), активная торговля или ростовщическая деятельность, использование наемного труда, во-вторых – степень политической лояльности, отношение к советской власти и колхозному строительству, выполнение государственных повинностей. Некоторые крестьяне стремились теперь попасть в группу бедноты, ранее не пользовавшуюся уважением в деревне. Опека со стороны власти вела к росту престижа социального статуса бедняка. Так, один из корреспондентов «Крестьянской газеты» в 1929 г. писал о появлении «злоумышленных бедняков», использовавших «авторитет бедняка» в корыстных целях. При этом они, по словам автора, «не хотят поднять свое хозяйство с целью полегче работать и это же кушать по сравнению своих товарищей середняков»²⁵. В разгар сплошной коллективизации данная тенденция еще более усилилась: крестьяне не только не стремились развивать свое хозяйство, но и разными путями «разбазаривали» имущество (проводили «самораскулачивание», как выражались представители власти).

Порою зажиточные хозяева не находили для себя лучшего выхода, чем породниться с беднотой. Участвовавшие случаи таких браков привели к тому, что в ряде районов местные власти пытались даже воспрепятствовать их административным путем²⁶. В целом, категории социальной градации, использовавшиеся на рубеже 1920–1930-х гг. деревенскими жителями, представляли собой сложный симбиоз положений большевистской идеологии и крестьянских этических норм, в котором причудливо переплетались оттенки моральных, экономических и политических смыслов. Провести строгие границы применения той или иной категории в существовавшем хаосе оценок практически невозможно. Тем не менее все это свидетельствует о происходившем тогда в деревне кризисе социальной идентичности, из которого возникала новая социальная организация – колхозная система.

Одним из важных изменений, вызванных коллективизацией, стало деление крестьянства на колхозников и единоличников. Особенно хорошо видна обособленность этих групп в первой половине 1930-х гг., когда колхозная система еще не воспринималась как неотъемлемая часть сельской повседневности. Отношения между ними были тогда далеко не добрососедские, иногда в их взаимовосприятии проскальзывали нотки враждебности. «Колхозники не наши товарищи», – говорил в 1933 г. один из жителей Няндомского района²⁷. Наиболее резко неприязнь проявлялась среди молодежи. Порою колхозникам и колхозницам запрещали заходить на деревенские вечеринки, с криками «даешь колхозников, где колхозники» на них нападали во время гуляний²⁸. С другой стороны, колхозники, считавшие, что именно их государство должно снабжать товарами в первую очередь, иногда открыто выражали чувство зависти к единоличникам, если те, несмотря на все трудности, имели больший достаток. В деревне Харитонов-

ская Вельского района после образования там в 1929 г. колхоза население разделилось на два враждебных лагеря – колхозников и общинников. Праздники они отмечали в разных концах деревни, при встречах между ними постоянно возникали ссоры и потасовки, женщины даже предпочитали ходить друг к другу в гости полем, а не деревенской улицей, где легко можно было столкнуться с «товаркой» из противоположного лагеря. Столкновения между жителями привели к тому, что в ситуацию вынуждены были вмешаться следственные органы, усилиями которых в деревне был наведен относительный порядок²⁹. Впрочем, враждебность колхозников и единоличников не следует преувеличивать. И те, и другие понимали, что стали жертвой грубого вмешательства государства в мир деревни, и продолжали считать себя крестьянами. К тому же антагонизм между ними практически исчез уже во второй половине 1930-х гг., как только крестьяне осознали, что колхозы создаются «всерьез и надолго».

Единоличники, сохранявшие прежние признаки своего крестьянского статуса, прекрасно понимали и неоднократно подчеркивали в «письмах во власть» несправедливость направленной против них политики. «Если крестьянин не идет в колхоз, то его облагают налогом от 100 до 150 руб. и т.д. и сразу просят деньги. Если крестьянин не платит сразу денег, то продают последнюю корову или лошадь», – обращался в 1934 г. к И.В. Сталину М.И. Данилов из Леденского района³⁰. «Жизнь единоличника – насильно гонят в лес старых и малых на лесоработы, отбирают, зорят, продажа имущества до последнего», – описывал бедственное положение крестьян И.Д. Пестерев из Кич-Городецкого района³¹. В условиях жесткого налогового и административного давления любая производственная деятельность оборачивалась против самого крестьянина. Об этом в 1932 г. писали Сталину В. Беричевский и С. Замараев из Велико-Устюгского района. В частности, ссылаясь на практику наложения «твердых заданий» на единоличников в их местности, они спрашивали: «Стоит ли после этого улучшать свое хозяйство, то есть, стоит ли стараться распахать и засеять лишнюю полосу, выкормить лишнюю скотину? ...Улучшишь свое хозяйство и попадешь в твердозаданцы, так уж не лучше ли жить как попало, да лишний рубль пропить, тогда уж не оверхушат и не дадут твердого задания»³². Таким образом, предпочтительным оказывалось отношение к труду, ранее считавшееся в крестьянской среде уделом лодырей и лентяев.

Если единоличники рассматривались советским государством как потенциальные противники, то в колхозниках власть видела лояльных крестьян. Это отмечали и сами жители села. Неслучайно в «письмах во власть» они нередко указывали дату вступления в колхоз. Однако статус колхозника имел свою цену, получить его можно было, лишь отказавшись не только от части имущества, но и от свободы хозяйствования. Представление о зависимом положении колхозников было широко распространено в северной деревне 1930-х гг., причем далеко не только среди единоличников. «Коллективами разоряете средняков, хотите сделать его рабом», – говорили крестьяне Черевковского района. «У нас теперь барин все отобрал и землю и сенокос и скот. Мы все теперь на барина работаем. Работай, работай, а все что соберешь отдай барину», – толковали в Вельском районе. «Совхозы и колхозы являются второго вида формами угнетения», – утверждали в Вологодском округе. «Мы же являемся людьми мучениками ибо в колхоз мы зашли не по доброй воле, а по неволе. Житья нам по за колхозу не стало и таких как мы на всем свете много», – сетовали в Кич-Городецком районе³³. Зависимость от колхоза ощущалась не только в хозяйственной деятельности, но и в повседневной жизни. Отголоски представлений о колхознике как о подневольном человеке можно обнаружить в частушке 1930-х гг.: «Сероглазый на расставание поиграй в тальяночку // Из колхоза не отпустят боле на гуляночку»³⁴. Разумеется, отсутствие хозяйственной самостоятельности и слабая материальная заинтересованность в развитии колхозного производства, внеэкономические методы принуждения со стороны власти и колхозной администрации – все это меняло отношение крестьянина к труду. Во всяком случае, на протяжении 1930-х гг. государство вело бурную и по всей видимости безуспешную борьбу с трудовым саботажем («волынками»). Сами крестьяне говорили при этом, что «энтузиазм не рождается из рабства»³⁵.

Таким образом, при делении крестьян на единоличников и колхозников именно отношение к государству выступало фактором формирования идентичности³⁶. Вместе с тем труд и свобода ведения хозяйства утрачивали свое прежнее значение в иерархии крестьянских ценностей. Если учесть массовый отток крестьян в города и резкое падение престижа сельского образа жизни³⁷, можно сделать вывод о том, что в колхозной деревне происходил распад основ крестьянского самосознания.

Вместе с этим изменялись и представления о внутренней градации жителей села. Постепенно теряло смысл деление по имущественному признаку. Нагляднее всего это проявилось в эволюции понятия «кулак» в северной деревне 1930-х гг. После сплошной коллективизации кулаков на селе не осталось. «Великий перелом» нивелировал крестьянство. Однако наступление на «зажиточные слои деревни» продолжалось: на места рассылались строгие предписания об обложении в индивидуальном порядке, о твердых заданиях и прочих «антикулацких мерах», в первой половине 1930-х гг. активно проводились чистки колхозов от «кулацкого элемента». В этом поиске очередных врагов колхозного строя принимали непосредственное участие и сами крестьяне, выявлявшие ту или иную степень принадлежности к кулачеству своих односельчан³⁸. «Вохмятин Сергей Емельянович брат кулака, – указывалось с их слов в одном из политических дел в 1931 г., – хотя жил от него уже давно по разделу. Но и сам он крепкий средняк, судимый в 1930 году за растрату в кооперативе, был приказчиком. Дети его сейчас комсомольцы, один животноводом, а Павел счетоводом». Подозрение вызывало и наличие родственных связей с кулаками: «Фукалов Борис Андрианович, личность неблагонадежная, вступив в коммуну в 1930 году, из нее выходил, организовал ТОЗ, там ничего не вышло. Развалив дело, снова влился в коммуну. Он родственник Тарасовым. Его сестра за Тарасовым Тимофеем Николаевичем». Не спасали от обвинений ни социальное происхождение, ни видное положение в колхозе: «Зам. председателя коммуны Кокорин Прокопий Иванович, в прошлом бедняк, но женатый на дочери кулака. Жена привела хорошее приданое и он сейчас крепкий средняк уже даже и идеологически отклонился от бедняка. Он хитрый и умеет подмазываться». В разряд потенциальных кулаков в 1930-е гг. с легкостью мог быть зачислен практически любой крестьянин. Этому способствовало и то, что родственные связи, материальный достаток, взгляды и индивидуальные качества каждого жителя были хорошо известны всей деревне и могли быть умело использованы при налогообложении или осуществлении иных мероприятий.

Результатом широкого употребления термина «кулак» в первой половине 1930-х гг. явилась практика «окулачивания» самых разных в имущественном отношении крестьянских хозяйств. Так, если верить «письмам во власть», в число зажиточных попали даже те крестьяне, которые до начала сплошной коллективизации считались в деревне бедняками и батраками³⁹. Это отразилось и в частушке того времени: «Раньше по миру ходил, собирал краюшки, // А советская власть перевела в верхушки»⁴⁰. Крестьяне шутили говорили, что таким образом партия собирается выполнить обещание сделать всех колхозников зажиточными⁴¹. Само понятие «кулак» постепенно стало употребляться вне связи с какими-либо материальными признаками. Так, 12 декабря 1935 г. в письме членов двиницкой парторганизации Тотемского района в Севкрайком ВКП(б) кулаками были названы бывшие крестьяне, после коллективизации маргинализировавшиеся и жившие за счет разбоя и кражи скота. Тем не менее авторы письма уверенно заключали: «Кулачество – преступники, забирают под свое влияние остальную часть единоличников, которые их прикрывают. Запугивают, угрожают колхозников и сельскую общественность, продолжают расхищать скот, воруют имущество»⁴². Показательно, что понятия «кулак» и «преступник» при этом неоднократно отождествляются. Однако, с одинаковой легкостью, кулаками могли быть признаны не только антисоциальные элементы, оказавшиеся вне колхозной системы, но и сами колхозники⁴³. Так, В.П. Шабakov в том же 1935 г. называл кулаками руководителей своего колхоза «им. Дмитрова» Вожегодского района только потому, что они «все время празднуют

религиозные праздники и в пьяном виде ходят по деревне и орут похабные частушки с матюгами»⁴⁴.

В рамках колхозной системы в северной деревне в 1930-е гг. формировались новые типы идентичности, одним из которых стали сталинские ударники (передовики производства). Образ ударников во многом был сконструирован советской пропагандой, однако это несколько не свидетельствует об искусственности данной общности. Напротив, активное агитационное воздействие, а также возможности повышения социального статуса и материального благосостояния довольно быстро принесли свои результаты, и уже к середине 1930-х гг. можно говорить о наличии на селе специфической социальной группы сталинских ударников, отличавших себя как от рядовых колхозников, так и от колхозной администрации. В деревне существовало даже выражение «выделиться ударником». Периодически проводившиеся слеты ударников различного уровня также способствовали формированию чувства обособленности. В своих письмах в структуры власти ударники прежде всего подчеркивали личный вклад в общественное производство (перевыполнение норм выработки, участие в соцсоревновании). Для того чтобы стать сталинским ударником, приходилось забыть о недобросовестном труде. Другой их характерной чертой являлась политическая активность – поддержка разного рода кампаний, займов, выборов в советы, выступления на собраниях, а также стремление к участию в управлении колхозом (участие в работе правления и различных комиссиях). Порою ударники, пытавшиеся по делу и не по делу вмешиваться в колхозные дела, вызывали острую неприязнь у местных руководителей, хотя в большинстве случаев те и другие ладили между собой. Ударники обычно стремились к повышению своих профессиональных знаний, просили партийных лидеров о направлении на сельскохозяйственные животноводческие курсы, интересовались специальной литературой, участвовали в работе агрокружков, применяли на практике технические новшества. Им была свойственна и забота о колхозной собственности, что проявлялось в борьбе с нерадивым отношением к ней и воровством. Так, сталинские ударницы М.Т. Разгулова и А.И. Задорина по собственной инициативе готовы были по ночам выходить на улицу, помогая отлавливать расхитителей общественного имущества. Разумеется, подобные действия вызывали резкую неприязнь у односельчан⁴⁵.

Особую социальную группу составляли руководители коллективных хозяйств, хотя сложно сказать, осознавали ли они в 1930-е гг. общность своих интересов. Слишком уж пестрым был состав председательского корпуса в этот период. Среди них были и городские жители – рабочие «двадцатипяти тысячники», присланные в деревню для создания колхозов, и местные активисты, и просто случайные люди. Так, председатель колхоза «Октябрь» Велико-Устюгского района М.П. Марков в 1933 г. просил Севкрайком ВКП(б) освободить его от занимаемой должности, ссылаясь на то, что «я совершенно малограмотный и руководить не могу». При этом он просил крайком выслать опытного председателя, так как «из своей среды выбрать некого»⁴⁶. Сменяемость председательского корпуса в 1930-е гг. была высокой⁴⁷. Тем не менее в письмах председателей колхозов конца 1930-х гг. в органы власти чувствуется их заинтересованность в руководящей должности. Работавший в 1929–1937 гг. председателем П.Е. Бардев, будучи снят в 1937 г. с должности руководителя сельхозартели им. Калинина Вожегодского района, ходил по различным инстанциям и собирал бумаги, добываясь перепроверки своей деятельности и пытаясь опротестовать решение правления. Идти на лесозаготовки вместе с рядовыми колхозниками он не желал⁴⁸. Работа на руководящем посту не только позволяла избежать тяжелого физического труда, но и открывала перспективы материального обогащения. В «письмах во власть» колхозники нередко жаловались на использование председателями колхозных средств в личных целях⁴⁹. С другой стороны, стараясь поддерживать интерес к труду, председатели часто были вынуждены идти на незаконное авансирование колхозников до выполнения обязательств перед государством⁵⁰.

В целом отношение к сталинским ударникам и представителям колхозной администрации в деревне 1930-х гг. было отрицательным. И те, и другие не пользовались

уважением среди крестьян⁵¹. Передовиков высмеивали, избивали, обливали кипятком, упрекали в наличии особых отношений с представителями власти и колхозной администрации (совместное пьянство, интимные связи), их трудовой энтузиазм публично поносили матерной бранью. Бывали случаи, когда им вредили в работе (тупили пилы, замазывали коров навозом), угрожали⁵². Между тем в деревне их считали людьми, находящимися под особым покровительством властей, открытое проявление враждебности к ним было чревато судебной ответственностью. Тем не менее к сталинским ударникам рядовые крестьяне относились не лучше, чем к руководству колхозов, жалобы на которых поощрялись. В этом отношении выражалось и сопротивление изменению крестьянской идентичности и новым установкам в сознании односельчан. Связь колхозной администрации и ударников с крупным общественным производством не соответствовала крестьянским представлениям о необходимости и ценности личного труда в собственном хозяйстве для обеспечения семейного благосостояния. Опора тех и других на власть, зависимость от нее противоречили стремлению крестьян к самостоятельности.

В то же время колхозники косо смотрели и на тех, кто пытался уклониться от активного труда в колхозе или от выполнения повинностей, когда им самим приходилось работать «в семь потов». Парадоксально, но фактором формирования новых черт отношения к труду мог выступать уравнилельный стереотип крестьянской психологии. Те, кто «разлагал трудовую дисциплину» или, «когда задумал выполнить данный ему наряд, так выполнит, а не задумал так не пойдет», не вызывали у других сочувствия. «На работу эта группа выходила после всех, – возмущались колхозники, – мы уже выходили на работу, а они еще только начинают завтракать»⁵³. Неравномерность приложения трудовых усилий в общественном производстве вызывала явное раздражение в деревне. Любопытно, что, несмотря на пренебрежительное отношение к применявшейся в колхозах оплате по трудодням, вопрос о правильности их начисления, судя по документам 1930-х гг., явно волновал крестьян⁵⁴.

Разумеется, процесс формирования новых типов социальной идентичности в 1930-х гг. был далек от своего завершения. Но уже тогда в сознании сельских жителей стали заметны черты, свойственные для складывавшейся колхозной системы и отличавшиеся в своих основных характеристиках от того типа идентичности, который принято называть крестьянским. Столкновение различных мировоззренческих принципов и ценностей обостряло повседневные конфликты и создавало атмосферу «неудержимой злобы», ставшую характерной чертой деревенской жизни предвоенного десятилетия⁵⁵.

Примечания

¹ Доброноженко Г.Ф. Кулак как объект социальной политики в 20-е – первой половине 30-х годов XX века (на материалах Европейского Севера России). СПб., 2008; Глумная М.Н. К характеристике колхозного социума 1930-х годов (на материалах колхозов Европейского Севера России) // XX век и сельская Россия. Российские и японские исследователи в проекте «История российского крестьянства в XX веке». Токио, 2005. С. 265–286; Ильиных В.А. Единоличники Западной Сибири в 1930-е годы: социальные изменения, стратификация // Отечественная история. 2006. № 6. С. 95–105; Безнин М.А., Димони Т.М. Протобуржуазия в сельском хозяйстве России 1930–1980-х годов (новый подход к социальной истории российской деревни). Вологда, 2008; они же. Менеджеры в сельском хозяйстве России 1930–1980-х годов (новый подход к социальной истории российской деревни). Вологда, 2009; Изюмова Л.В. Колхозный социум 1930–1960-х гг.: социальная трансформация, идентификация и престиж // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2008. Вып. 16. № 59. С. 103–118.

² Фицпатрик Ш. «Приписывание к классу» как система социальной идентификации // Американская русистика: веки историографии последних лет. Советский период. Самара, 2001. С. 174–207; Коткин С. Государство – это мы? Мемуары, архивы и кремленологи // Нестор. Журнал истории и культуры России и Восточной Европы. Вып. 11. Смена парадигм. Современная русистика. Источники, исследования, историография. СПб., 2007. С. 97–116; Халфин И. Из тьмы к свету:

коммунистическая автобиография 1920-х годов // Там же. С. 216–247; и др. О социокультурном повороте в зарубежной историографии СССР см.: *Большакова О.В.* Новая политическая история России. Современная зарубежная историография. Аналитический обзор. М., 2006.

³ Государственный архив Архангельской области (далее – ГА АО), ф. 621, оп. 3, д. 198, л. 193.

⁴ Там же, д. 405, л. 103.

⁵ Там же, ф. 1470, оп. 2, д. 81, л. 31–32 об.

⁶ Там же, ф. 621, оп. 3, д. 337, л. 20–22.

⁷ Там же, ф. 1470, оп. 2, д. 11, л. 2–2 об.

⁸ Там же, Отдел Документов социально-политической истории (далее – Отдел ДСПИ), ф. 275, оп. 1, д. 49, л. 20–21 об.

⁹ РГАЭ, ф. 396, оп. 7, д. 6, л. 2.

¹⁰ ГА АО, Отдел ДСПИ, ф. 290, оп. 1, д. 1331, л. 76–77 об.

¹¹ Там же, д. 156; д. 159, л. 50; д. 155, л. 129–141; д. 389, л. 89–89 об.; ГА АО, ф. 621, оп. 3, д. 15, л. 26.

¹² *Артемова О.В.* Крестьянский двор на Европейском Севере (вторая половина 1930-х – 1940-е годы). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Вологда, 1997. С. 18–19; *она же.* Борьба крестьян Европейского Севера России за землю во второй половине 1930-х – 1940-х гг. // Сборник научных трудов к 50-летию Михаила Алексеевича Безнина. Проблемы экономической и социальной истории: общероссийский и региональный аспект (XIX–XX вв.) Вологда, 2004, С. 134–144.

¹³ ГА АО, ф. 1470, оп. 1, д. 305, л. 18–18 об.

¹⁴ Там же, д. 250, л. 69–73; ф. 621, оп. 3, д. 198, л. 245–246.

¹⁵ *Швейковская Е.Н.* Критерии зажиточности в российской деревне XVI–XVII вв. // *Зажиточное крестьянство России в исторической ретроспективе. Материалы XXVII сессии Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы.* Вологда, 2001. С. 40.

¹⁶ ГА АО, ф. 659, оп. 5, д. 16, л. 346–347.

¹⁷ Вологодский областной архив новейшей политической истории (далее – ВОАНПИ), ф. 1252, оп. 1, д. 39, л. 179.

¹⁸ ГА АО, ф. 659, оп. 5, д. 55, л. 16–17.

¹⁹ ВОАНПИ, ф. 1252, оп. 1, д. 39, л. 82–83 об.

²⁰ ГА АО, ф. 1470, оп. 2, д. 253, л. 6–7 об.

²¹ Там же, ф. 621, оп. 3, д. 16, л. 43; д. 325, л. 81–81 об.; Отдел ДСПИ, ф. 290, оп. 1, д. 156, л. 23; д. 157, л. 9–16, 75; д. 74, л. 6; д. 290, л. 195–197; ф. 275, оп. 1, д. 29, л. 19 об.; *Кулаки наступают* // *Правда севера.* 1929. 17 июля; и др.

²² ГА АО, ф. 1470, оп. 2, д. 54, л. 4–5; д. 71, л. 7–8 об.

²³ Там же, Отдел ДСПИ, ф. 290, оп. 1, д. 157, л. 9–16.

²⁴ ВОАНПИ, ф. 1252, оп. 1, д. 39, л. 7–7 об., 117–117 об.; Государственный архив Вологодской области (далее – ГА ВО), ф. 521, оп. 1, д. 20, л. 47–47 об.; РГАЭ, ф. 396, оп. 7, д. 6, л. 2; д. 2, л. 10–10 об.; д. 4, л. 44; ГА АО, ф. 659, оп. 5, д. 16, л. 347–346; д. 55, л. 16–17; д. 134, л. 81; д. 133, л. 131; д. 148, л. 156–156 об. и др.

²⁵ РГАЭ, ф. 396, оп. 7, д. 3, л. 35.

²⁶ ГА АО, Отдел ДСПИ, ф. 290, оп. 1, д. 565, л. 10.

²⁷ ГА АО, ф. 1470, оп. 1, д. 235, л. 8–9 об.

²⁸ Там же, ф. 621, оп. 3, д. 16, л. 51; Отдел ДСПИ, ф. 290, оп. 1, д. 156, л. 23.

²⁹ ГА АО, ф. 1470, оп. 1, д. 269.

³⁰ Там же, Отдел ДСПИ, ф. 290, оп. 2, д. 221, л. 78–78 об.

³¹ Там же, оп. 1, д. 1615, л. 21.

³² Там же, д. 1331, л. 72–72 об.

³³ Там же, д. 159, л. 42; оп. 2, д. 312, л. 607–110; оп. 1, д. 1196, л. 206; ГА АО, ф. 1470, оп. 1, д. 250, л. 69–73.

³⁴ ГА АО, Отдел ДСПИ, ф. 290, оп. 1, д. 1198, л. 80–81.

³⁵ ГА АО, ф. 621, оп. 3, д. 238, л. 125.

³⁶ Это могло бы служить дополнительным аргументом в пользу выдвинутой Ш. Фицпатрик концепции «приписывания к классу», согласно которой колхозники и единоличники являлись двумя советскими сословиями (*Фицпатрик Ш.* «Приписывание к классу» ... С. 174–207). Однако следует иметь в виду переходный характер данного типа идентичности. В.А. Ильиных первым обратил внимание на проблему социальной природы «единоличников» и показал, что под воздействием государственной политики данная группа утрачивала производственные и демографические характеристики, присущие крестьянству. (*Ильиных В.А.* Указ соч. С. 95–105).

³⁷ См.: *Изюмова Л.В.* Указ. соч. С. 106–108.

³⁸ ГА АО, ф. 1470, оп. 1, д. 253, л. 113–114 об.

³⁹ ГА ВО, ф. 1298, оп. 1, д. 55, л. 160–161 об., 170–171 об.; ГА АО, ф. 659, оп. 5, д. 16, л. 346–347.

⁴⁰ ГА АО, Отдел ДСПИ, ф. 290, оп. 1, д. 1198, л. 80–81.

⁴¹ Там же, оп. 2, д. 462, л. 59 об.–60.

⁴² Там же, д. 289а, л. 82–83 об.

⁴³ Там же, оп. 1, д. 1331, л. 76–77 об.; оп. 2, д. 462, л. 62–76, 86–88 и др.

⁴⁴ Там же, оп. 2, д. 1171, л. 2–3.

⁴⁵ См., в частности, следующие документы: ГА АО, Отдел ДСПИ, ф. 290, оп. 1, д. 1534, л. 27–27 об., 222–222 об.; оп. 2, д. 221, л. 43–45 об.; д. 729, л. 28–30; д. 731, л. 141–142; д. 732, л. 198–199; д. 1179, л. 6; ГА АО, ф. 621, оп. 3, д. 417, л. 5 об.–6.

⁴⁶ ГА АО, Отдел ДСПИ, ф. 290, оп. 1, д. 1534, л. 52–52 об. Примечательную в этом отношении историю рассказал в своем письме М.И. Калинину житель деревни Багрино Кубино-Озерского района А. Талалов. В частности, он писал, что первым председателем новообразованного в их деревне колхоза, благодаря содействию сельсовета, был избран сектант-евангелист. Вероисповедальная принадлежность последнего вызывала острое неприятие со стороны крестьян, и в конце концов им удалось добиться его отстранения от должности. Новый председатель вызывал у местных жителей доверие, однако поскольку каждый приезжавший в Багрино начальник пугал его «судом» и «ответственностью», он «стал совсем больной» и решил свести счеты с жизнью. Третьим председателем колхоза избрали школьного работника, который, быстро смекнув, что дело «горит», на второй день своего председательства ушел в отпуск. В результате колхоз в деревне Багрино распался (ГА АО, ф. 659, оп. 5, д. 193, л. 11–12 об.).

⁴⁷ Глумная М.Н. К характеристике колхозного социума... С. 273–275.

⁴⁸ ВОАНПИ, ф. 2522, оп. 1, д. 139, л. 71–72 об.

⁴⁹ См., например: ГА ВО, ф. 903, оп. 1, д. 48, л. 128–128 об.; ГА АО, Отдел ДСПИ, ф. 290, оп. 2, д. 64, л. 84; д. 1171, л. 2–3; ГА АО, ф. 659, оп. 5, д. 143, л. 64–64 об.

⁵⁰ Глумная М.Н. К вопросу об организационной культуре колхозов Европейского Севера России в 1930-е годы // Стратегия и механизм управления: опыт и перспективы. Материалы научно-практической конференции. Вологда, 2008. С. 137.

⁵¹ Подробнее см.: Глумная М.Н. К характеристике колхозного социума... С. 273.

⁵² ГА АО, ф. 621, оп. 3, д. 338, л. 13–17; д. 274, л. 192; ф. 1470, оп. 1, д. 794, л. 14–15, 20–20 об.; д. 870, л. 5–5 об.; д. 879, л. 5–6; ГА АО, Отдел ДСПИ, ф. 290, оп. 2, д. 700, л. 63–70; ВОАНПИ, ф. 645, оп. 1, д. 230, л. 68–73; Няндомский райком работал неудовлетворительно // Правда Севера. 1937. 9 января. См. также письма сталинских ударников, указанные в сноске 45.

⁵³ ГА АО, ф. 1470, оп. 1, д. 253, л. 113–114 об.

⁵⁴ РГАЭ, ф. 396, оп. 10, д. 4, л. 321; д. 5, л. 3–4; оп. 11, д. 5, л. 27; ВОАНПИ, ф. 2522, д. 86, л. 80–80 об.; ГА АО, ф. 621, оп. 3, д. 412, л. 24–25; ф. 1470, оп. 2, д. 236, л. 24–24 об.; Отдел ДСПИ, ф. 290, оп. 1, д. 1198, л. 80–81; оп. 2, д. 711, л. 16; Они хотели отнять у колхозников зажиточную счастливую жизнь // Правда Севера. 1937. 28 января.

⁵⁵ Фицпатрик Ш. Сталиньские крестьяне. Социальная история Советской России в 1930-е годы: деревня. М., 2001. С. 261–292.

© 2012 г. Д. В. КИБА*

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ВЛАСТЬ В 1950–1960-х ГОДАХ: ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Общественно-политическое развитие СССР 1950–1960-х гг. неоднозначно освещается в обширной отечественной и зарубежной историографии. Огромный интерес представляет проблема самореализации художественной интеллигенции и ее взаимодействия с властью в указанный период. Хотя эти вопросы не раз уже становились предметом исследования¹, однако на региональном уровне данная тема требует новых

* Кибя Дарья Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и архивоведения Государственного технического университета Комсомольска-на-Амуре.